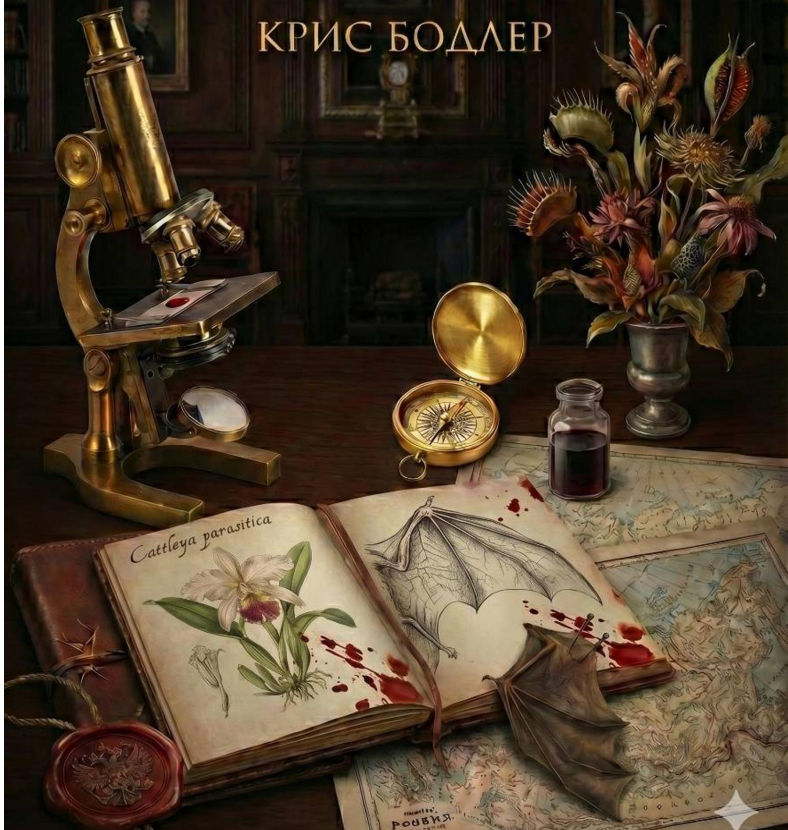


Прекрасные паразиты

КРИС БОДЛЕР



Крис Бодлер

Прекрасные Паразиты

<https://litres.ru/74088346>

SelfPub; 2026

Аннотация

За маской холодного доцента ботаники Катарины Ланж скрывается Эмилия де Виллер — бессмертный симбиот, пережившая роковую экспедицию 1913 года. Её уединенная жизнь в современном Петербурге рушится, когда город захлестывает череда жутких убийств. Возле каждого обескровленного тела находят редкий цветок-паразит.

На след исчезнувшего студента выходит Николай Фёдоров — частный детектив и бывший офицер ГРУ. Его профессиональный цинизм разбивается о пугающую мистическую реальность. То, что начинается как напряженная интеллектуальная дуэль между сыщиком и главной подозреваемой, перерастает в смертельно опасный альянс.

Им предстоит бросить вызов армии бессмертных в декорациях старинных петербургских особняков. Но главная битва развернется в их душах: сможет ли хладнокровный детектив доверить свою жизнь монстру, и какую цену готова заплатить Эмилия ради спасения единственного смертного, растопившего её ледяное сердце?

Содержание

Глава	4
Глава 1. Катарина. Сто лет тому назад	5
Глава 2. Катарина. Дыхание ночи	23
Глава 3. Катарина. Тени прошлого	38
Глава 4. Катарина. Кровь на снегу	57
Глава 5. Холодный след	75
Часть I. Н	75
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Прекрасные Паразиты

Глава

Прекрасные паразиты

Глава 1. Катарина.

Сто лет тому назад

Я шла по аллеям парка Первого медицинского университета. Под ногами хрустел влажный гравий, и каждый шаг отзывался гулким эхом в моей памяти. Вокруг возвышались старинные корпуса из красного кирпича — мрачные, величественные, похожие на замки. В воздухе витал сложный букет запахов: мокрая листва, пыль вековой кладки и едва уловимый, острый аромат эфира и формалина — запах, который, кажется, въелся в стены этих зданий навечно, пережив войны, революцию и блокаду.

Те, с кем я когда-то работала здесь, в Женском медицинском институте — так он назывался при Государе, — те, кого я учила... Их всех уже давно нет. Они превратились в чернозем, в историю, в архивную пыль. А я иду здесь. Снова.

О, время... Как же ты удивительно, жестоко и быстротечно для всех... кроме меня.

Я остановилась перед массивной дверью корпуса кафедры биологии. В ладони лежал тяжелый ключ с биркой «№ 7». Уголки губ дрогнули в горькой усмешке. Судьба обладает специфическим чувством юмора: мне выделили ту же самую аудиторию, в которой я читала лекции в 1915 году, когда Империя еще стояла, а мир казался незыблемым.

Как же всё изменилось.

Я вошла внутрь. Студенты отдыхали после пар в широком холле. Раньше здесь стояли жесткие деревянные скамьи, и курсистки в строгих темных платьях с белыми воротничками шепотом обсуждали новости с фронта Первой мировой. Теперь здесь расположились мягкие пуфы, а пространство заполнял гул от кофейного автомата, мигающего разноцветными диодами.

Никто не спорил, не читал вслух конспекты. Почти все сидели, уткнувшись в светящиеся прямоугольники телефонов. Лица студентов были освещены холодным голубоватым светом экранов. Я прошла сквозь толпу, словно призрак. На меня никто не обратил внимания. Для них я была лишь очередной «новой преподавательницей» в строгом костюме.

Мой взгляд скользнул по стене и вдруг зацепился за что-то знакомое. Я замерла.

На большом стенде под заголовком **«История нашего Университета: Лица науки»** висел ряд портретов. И там, в самом центре, с зернистой черно-белой фотографии на меня смотрела...я.

Чёрно-белый был сделан в 1915 году. Высокий воротник, сложная прическа того времени, чуть надменный взгляд и брошь в виде переплетенных стеблей на лацкане. Подпись внизу гласила:

«Эмилия де Виллер. Одна из первых женщин-преподавателей Женского медицинского института, внесшая неоце-

нимый вклад в изучение лекарственных растений».

По спине пробежал ледяной холодок, заставив меня инстинктивно выпрямиться. Я медленно перевела взгляд с фото на свое отражение в темном стекле витрины. Те же скулы, вздернутый нос. Те же зеленые глаза. Правда сейчас волосы я редко укладываю в сложную прическу. Зачастую они струятся рыжими волнами до талии.

Сердце, которое, вопреки всему, все еще билось в моей груди, пропустило удар. Неужели никто не замечает? Я оглянулась на студентов. Они все так же сидели, поглощенные гаджетами. Никто не поднял головы, чтобы сравнить «молодого» доцента Ланж с портретом вековой давности.

— Сходство поразительное, не правда ли? — раздался вдруг голос у меня за спиной.

Я вздрогнула, но многолетняя привычка контролировать каждый мускул лица спасла меня. Медленно обернувшись, я увидела невысокого мужчину лет пятидесяти в помятом пиджаке. Он поправил очки и дружелюбно, но внимательно смотрел то на меня, то на портрет.

— Простите, я вас напугал? — он улыбнулся, протягивая руку. — Арсеньев, заведующий кафедрой. Мы с вами переписывались.

— Катарина Владленовна Ланж, — я пожалала его ладонь. Кожа у него была теплой и сухой, как пергамент. — И да, вы правы. Это моя прапрабабушка, Эмилия. Семейная легенда, если можно так выразиться.

— Потрясающе, — Арсеньев покачал головой. — Генетика — упрямая вещь. Надеюсь, талант к науке вам тоже передался? Эмилия де Виллер была выдающимся ученым, хоть и исчезла бесследно в вихре революции.

— О да, — я позволила себе легкую, чуть холодную улыбку. — Я намерена продолжить её дело.

— Прекрасно! Ваша седьмая аудитория открыта. Студенты третьего курса уже ждут. Удачи, коллега.

Он кивнул и заспешил дальше. Я выдохнула. Первый экзамен сдан. Меня приняли за мою собственную правнучку.

Я толкнула тяжелую дубовую дверь аудитории. Амфитеатр был полон. Гул голосов мгновенно стих. Десятки пар глаз уставились на меня. Я положила папку на стол, обвела взглядом зал и взяла кусок мела.

На доске, резким, каллиграфическим почерком, я вывела тему: **«РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПАРАЗИТЫ И САПРОФИТЫ: ГРАНЬ МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ».**

Я повернулась к залу.

— Добрый день. Меня зовут Катарина Владленовна Ланж, — мой голос звучал твердо, отражаясь от высоких сводов потолка. — Забудьте на время о ромашке и подорожнике. Сегодня мы поговорим о тех, кто выживает за счет других. О тех, кого принято считать вредителями, но кто на самом деле является вершиной эволюции.

Я вставила флеш-карту в ноутбук на кафедре и открыла файл с презентацией. Современные технологии оставались

для меня непростым испытанием, но я старалась идти в ногу со временем, как бы быстро оно ни бежало.

Я нажала кнопку на пульте. С потолка с тихим жужжанием выехало белое полотно экрана, проектор мигнул, и над моей головой высветилось изображение. Бледный, восковой стебель, пробивающийся сквозь гнилую листву.

— *Monotropa hypopitys*, — произнесла я. — Подъельник обыкновенный. У него нет хлорофилла. Он бледен, как мертвец, и холоден на ощупь. Он не производит энергию сам. Он берет её у грибницы, которая связана с корнями деревьев. Он — совершенный вор. Прекрасный паразит. Он живет в вечной тени, но при этом... он цветет.

Я сделала паузу, глядя прямо в глаза молодому человеку на первом ряду. Он был одет в черный кашемировый джемпер, сидел вальяжно и смотрел на меня с нескрываемым интересом.

— Скажите, — я чуть понизила голос, — можно ли осуждать существо за то, каким его создала природа? Если его единственный способ выжить — это отнять жизнь у другого?

Тот самый студент — красивый брюнет с самоуверенным взглядом — поднял руку.

— А разве это не делает его просто... болезнью? — спросил он с вызовом. — Паразит убивает хозяина. Это тупик.

Я улыбнулась уголками губ.

— Как ваша фамилия?

— Волков. Максим Волков.

— Вы ошибаетесь, Максим. Умный паразит никогда не убивает хозяина сразу. Он заботится о нем. Он продлевает ему жизнь, чтобы продлить её себе. Это не убийство. Это... принудительный симбиоз.

Максим хмыкнул, не зная, что ответить, но взгляда не отвел. В его глазах читался азарт охотника, который внезапно встретил достойную дичь. Он вальяжно откинулся на спинку стула и, поигрывая дорогой ручкой, продолжил:

— «Принудительный симбиоз»? Звучит как оправдание для рабовладельца, профессор. Разве дерево давало согласие на то, чтобы его доили, как корову?

По аудитории прокатился шепоток. Студенты замерли. Никто обычно не разговаривал с преподавателями в таком тоне.

Я спокойно выдержала его взгляд.

— В природе нет понятия «согласие». Есть понятие «эффективность». Дерево получает воду и минералы, которые гриб добывает лучше него. А паразит... скажем так, берет комиссию за посредничество.

— Комиссию? — Максим усмехнулся, явно наслаждаясь игрой. — То есть вы утверждаете, что быть паразитом — это почетно? Что жить за чужой счет — это вершина эволюции? По-моему, это удел слабых. Тех, кто не может создать ничего своего.

Он обвел аудиторию насмешливым взглядом, ища поддержки, а потом снова уставился на меня.

— Разве сильный организм станет прятаться в тени и воровать соки? Сильный растет на свету.

Удар был неплох. Для двадцатилетнего мальчика. Но он не знал, с кем говорит.

— Вы мыслите категориями человеческой морали, — мягко, как ребенку, ответила я, спускаясь с кафедры и делая несколько шагов к первому ряду. Стук моих каблуков звучал в тишине как удары метронома. — «Слабый», «сильный», «воровство»... Биология цинична.

Я остановилась прямо напротив его стола.

— Вы говорите, паразит слаб? Ошибаетесь. Чтобы взломать защиту чужого организма, обойти иммунную систему, заставить хозяина работать на себя и при этом не убить его — нужен интеллект. Генетический интеллект. Дуб просто стоит и фотосинтезирует. Это грубая сила. А *Monotropa*... она ведет сложную дипломатическую игру.

Я чуть наклонилась к нему, понизив голос так, чтобы слышали только первые ряды:

— И поверьте мне: выживает не тот, кто стоит на свету и гордо подставляет грудь ветрам. Выживает тот, кто умеет адаптироваться к темноте.

Максим перестал крутить ручку. Его улыбка стала тоньше, острее.

— А вы, Катарина Владленовна? — он выделил мое имя интонацией, балансирующей на грани фола. — Вы на чьей стороне? Гордого дуба или хитрого паразита?

Вопрос повис в воздухе. Это был уже не научный спор. Это была личная проверка границ.

Я выпрямилась и вернулась к кафедре, чувствуя на спине его прожигающий взгляд.

— Я на стороне науки, Максим. А наука не выбирает стороны. Она изучает факты.

Я отвернулась от него и щелкнула пультом.

— Но давайте уйдем от философии к биохимии. Иначе на экзамене ваш «гордый дуб» знаний рухнет под натиском моих вопросов.

Я отвернулась от него и вернулась к теме. Лекция потекла своим чередом. Следующие сорок минут мы разбирали морфологию сапрофитов. Я говорила, и мой голос, спокойный и монотонный, заполнял аудиторию, погружая студентов в транс. Я чертила на доске формулы, объясняла сложные цепочки обмена веществ, рассказывала о том, как именно корни *Monotropa* оплетают гифы грибов.

Аудитория притихла. Слышен был только скрип ручек и стук пальцев по клавиатурам ноутбуков. Время от времени я задавала вопросы, заставляя их думать, просыпаться.

— Кто скажет мне, почему это растение вообще выживает без хлорофилла? Как оно находит питание в полной темноте?

Руку подняла бледная девушка в очках на втором ряду.

— Она образует микоризу, — неуверенно начала студентка. — То есть, срастается с грибницей. Грибы расщепляют

органику почвы, передают питательные вещества деревьям, а подбельник... он перехватывает этот поток.

— Верно. Как вас зовут?

— Лена. Соколова.

— Совершенно верно, Лена. Подбельник — это, если хотите, «хакер» растительного мира. Он подключается к сети леса и качает ресурсы.

По аудитории пробежал легкий смешок. Сравнение ожило задремавшие было ряды.

— А практическая польза? — выкрикнул кто-то с задних рядов. — Или мы изучаем его только как пример «халявщика»?

Я чуть прищурилась, находя взглядом говорившего — рыжего парня с веселым лицом.

— В фармакогнозии нет понятия «просто пример», молодой человек. В сушеном виде эта трава веками использовалась в народной медицине. Гликозиды, салициловая кислота... — Я начала перечислять химический состав, наслаждаясь звучанием латыни. — Отвары применяли как седативное средство. При судорогах, при кашле. И, что иронично, при сильном испуге.

— А сегодня его всё ещё используют в медицинских целях? — с интересом спросила девушка с каштановыми волосами, сидевшая рядом с рыжим парнем. — Или теперь он только история?

— Яды не стареют. Салициловая кислота, которую выде-

ляет это растение, работает так же, как и двести лет назад. Природа не меняет своих рецептов.

Время летело незаметно. Я чувствовала, как захватываю их внимание. Даже те, кто в начале пары сидел в телефонах, теперь слушали. Я рассказывала истории из практики старых земских врачей — конечно, умалчивая, что видела этих врачей лично.

Я взглянула на часы. Пара подходила к концу. За окнами уже начали сгущаться ранние петербургские сумерки, и аудитория погрузилась в серую полумглу, разгоняемую лишь светом проектора.

— Парадокс, не правда ли? — я облокотилась о кафедру, подводя итог. — Растение, которое выглядит как мертвец и живет воровством, способно успокоить человеческую боль. Природа не делит свои творения на «добрых» и «злых». Она делит их на тех, кто выжил, и тех, кто стал перегноем.

Я увидела, как Максим Волков снова подался вперед, явно собираясь что-то сказать, но звонок, резкий и громкий, разрезал тишину.

— На сегодня всё, — объявила я, перекрывая шум отодвигаемых стульев. — К следующему занятию подготовьте эссе на тему «Токсичные алкалоиды». И помните: то, что не убивает нас сразу, часто просто ждет подходящего момента.

Когда последний студент покинул аудиторию, я подошла к высокому арочному окну и позволила прохладе стекла кос-

нуться лба.

На Петроградскую сторону опускался вечер — тот самый, бархатистый и позолоченный, в котором город, будто уставший от дневной суеты, надевал свой самый величественный наряд. Небо, бледно-сиреневое на востоке, плавилось в расплавленном золоте на западе, где редкие, распушенные облака купались в последних потоках света.

Внизу, в чаше университетского двора, старинные корпуса из красного кирпича преобразались. Лучи заката ложились на их шершавые бока, и каждый выщербленный камень, каждая тень под карнизом обретала объем и тайну. Они были не просто зданиями — это были молчаливые стражи, застывшие в благородной дремоте. Здесь, среди этих архитектурных снов, время не бежало — оно струилось, густея, как мёд.

За ажурной оградой парка, на улице Льва Толстого, городская жизнь текла своей медленной, огненной рекой. Вереницы машин превращались в цепочки движущихся отсветов, их стоп-сигналы миг-за-мигом вспыхивали алыми искрами в золочёной дымке. Фонари ещё дремали в своих чугунных кружевах, но их стеклянные сердца уже начинали ловить и копить отсветы угасающего дня, готовясь сменить солнце в его ночном дежурстве.

Этот город... Он был мастером перевоплощений. Менял имена, как перчатки — Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград, — но его душа, холодная, гордая и невероятно прекрас-

ная, оставалась неизменной. Сейчас он был Империей из огня и янтаря. Гранитные набережные, обычно серые и строгие, отливали тёплым розоватым мрамором. Даже мрачные колодцы дворов ловили по кромке крыш последние лучи. А шпили — эти вечные иглы, пронзающие небо, — горели, будто их выковали из самого солнца.

Я наблюдала, как золотая и багряная листва старых клёнов, трепеща на ветру, касалась стекла лёгким, шелковистым шорохом. Не навязчивым стуком, а скорее почтительным прикосновением — будто просила разрешения войти в мой вечный, одинокий мир.

Преподавание дарило мне странное, двойственное утешение. В этой жадной, пылливой жажде знаний, что когда-то жгла и меня саму, заставляя тайком проводить ночи в отцовской библиотеке при свечах, я находила отголосок собственного бесконечного пути. Мне нравилось приоткрывать этим молодым, гибким умам сложную, безупречную механику жизни. Водить их мысленным взором по тайным путям, что пульсируют в каждой прожилке листа, в каждой полупроницаемой мембране. И видеть — увы, не во всех, — как в глубине чьего-то взгляда вспыхивает та самая, драгоценная искра. Немое «эврика». Миг подлинного понимания. И в этот миг мне казалось, что стоит оно всех долгих, одиноких лет, прожитых в ожидании.

Я достала из сумочки смартфон. Холодный, идеально гладкий кусок стекла и металла до сих пор казался мне чу-

жеродным артефактом. Мои пальцы, в детстве привыкшие к тяжести серебряного пера и шероховатости плотной бумаги верже, всё ещё иногда замирали над экраном, словно боясь обжечься о мертвый свет пикселей. Я почти научилась пользоваться мессенджерами, навигаторами и базами данных — идеальная мимикрия требовала жертв, — но никогда не могла избавиться от ощущения, что эти устройства крадут у людей не только время, но и способность осязать мир. Экран мигнул, высветив скупые цифровые часы. Время позднее, пора идти домой.

Мне захотелось немного пройтись.

Путь мой лежал на Каменноостровский проспект, к громаде Дома Трех Бенуа. Этот архитектурный колосс, занимавший целый квартал, строился как раз накануне Первой мировой войны — в ту самую эпоху, когда я готовилась к экспедиции в Мексику, еще будучи человеком. В его массивном рустованном цоколе и строгих линиях навсегда застыл дух ушедшей Империи, которую я так любила и которую потеряла.

Я нырнула под высокие своды парадной арки, и гул улицы мгновенно стих. Этот дом был моим идеальным убежищем, настоящим городом в городе. Я привычно углубилась в мистический лабиринт проходных дворов. Здесь огромные парадные курдонеры сменялись узкими, глухими колодцами, куда почти не проникал свет фонарей. Потрясающий контраст: респектабельная жизнь напоказ и мрачная, скрытая

изнанка.

Моя квартира находилась в одной из самых тихих парадных. Окна выходили в глухой двор, где никогда не бывало лишних глаз. А в конце длинного коридора пряталась неприметная дверь черного хода, ведущая на темную, узкую лестницу — мой личный, безопасный путь в ночной город, когда Голод становился слишком невыносимым.

Дома царили тишина и уютное, накопленное стенами тепло. На кухне я открыла холодильник: скудный набор продуктов и несколько медицинских контейнеров с субстанцией густого, тёмно-бордового оттенка. Доступ к донорской крови — привилегия, дарованная мне Внушением. Это был мой компромисс, моя изошрённая сделка с собственной природой, позволяющая сохранять иллюзию выбора. Остаться не тварью, а «паразитом с претензией» — существом, балансирующим на лезвии между человеком и тем, что прячется в тени.

Я перелила густую, тёмно-рубиновую жидкость в хрустальный бокал, будто готовясь к дегустации дорогого бургундского. Ритуал придавал действию видимость цивилизованности, отдаляя животную суть процесса. Первый глоток. Вечный, внутренний холод, мой верный и неизменный спутник, отступил, отполз на время в уголки сознания. По сосудам, похожим на высохшие русла забытых рек, разлилось обманчивое, украденное тепло — слабая тень жизни, мне не принадлежащей.

Паразит. Слово обрело во рту вкус этого «напитка» — горьковатый, с медным привкусом, безжалостный в своей откровенности. Именно так я и определяла своё существование. Мне требовалось потреблять самую суть живого, чтобы просто *быть*. Подобно *Monotropa hypopitys*, тому самому поддельнику с моих лекций: изящному, бледному, лишённому хлорофилла созданию, что не творит, а лишь мастерски перераспределяет, вплетаясь в чужие, полнокровные сети. Утончённый вор. Безупречный паразит.

Ирония заключалась в том, что, обучая других видеть в этом биологическую целесообразность, я сама не могла избавиться от острого, гнетущего чувства ущербности. Я восхищалась совершенством механизма выживания, но презирала его в себе. Быть вечным учеником у самого процесса жизни, но никогда — его полноправным творцом. Вечно брать, давая лишь свою отстранённую, холодную наблюдательность взамен.

Я подняла бокал к свету, струившемуся из окна. Жидкость почти не пропускала его, лишь по самому краю тлел тёмно-гранатовый отсвет. В этом бокале не было солнца, которым были напоены вина моей настоящей юности. Здесь была лишь тихая, сгущённая тьма — и моё собственное отражение в полированной поверхности хрусталя: бледное лицо, вззирающее на себя глазами, в которых замер вечный, безответный вопрос.

Я посмотрела на свою левую руку. Старинное золотое

кольцо с глубоким изумрудом тускло блеснуло. Виктор подарил мне его перед нашей свадьбой, задолго до того рокового путешествия в Мексику.

— Я вернулась, Виктор, — прошептала я в пустоту. — Я снова здесь в нашем городе.

Взгляд скользнул к секретеру, где стояла старая фотография в рамке. Единственная вещь, которую я берегла больше жизни.

На снимке была моя семья. Отец — уже седой, мама, и двое детей у их ног: мой младший брат Николя и крошка Мари. Они родились поздно, когда я уже считалась «старой девой» XX века.

Память услужливо подбросила картины прошлого. Не уютный Петербург моей юности, а серый, злой Петроград 1917 года. Выстрелы, пьяные матросы, хаос. Толпа, готовая растерзать любого «буржуя».

Тогда мой Дар впервые спас нас. Я помню тот патруль на вокзале: красные повязки, винтовки, полные ненависти глаза. Обычная девушка погибла бы там, растерзанная толпой. Но я посмотрела в глаза командиру. Я призвала *морок* — один из тех темных даров, что получила в роковой день в пещере. Я внушила им, что мы — лишь скользящие тени. Что нас здесь нет. И они опустили оружие, пропустив нас, словно смотрели сквозь пустоту.

Франция стала нашим спасением. В Париже, слегка подправив документы — моя внешность позволяла мне вечно

выглядеть на двадцать пять — я поступила в Сорбонну. Я получила диплом, стала профессором. Мне приходилось работать день и ночь, чтобы Николая и Мари ни в чем не нуждались.

Мне довелось быть рядом до самого конца: наблюдать, как они взрослеют, создают семьи, неумолимо стареют. Ладони хранили тепло их рук в те минуты, когда жизнь окончательно покидала тела. Смерть в своих постелях, в окружении детей и внуков, стала для них заслуженным финалом счастливого пути. Для всех, кроме одной оставшейся.

Палец скользнул по стеклу фотографии, очерчивая контур лица маленькой Мари.

— Я скучаю... — едва слышный шепот растворился в пустой комнате.

Ладонь накрыла снимок, гася свет ушедших лет. Внезапно сквозь тишину просочился едва уловимый звук. Знакомая мелодия. Тот самый старинный вальс, что пела шарманка на Невском в день помолвки с Виктором. Обрывки мотива, перемешанные с шумом ветра, доносились откуда-то с улицы. Сердце — вечный предатель — пропустило удар. Невозможно. Просто совпадение или игра воображения, измотанного нахлынувшими воспоминаниями.

Свет погас. В наступившей темноте одинокая фигура замерла у окна. Неужели в родном городе призраки прошлого так и будут следовать по пятам?

Тишина квартиры была мне ответом. Я допила свой ужин

и подошла к столу, где лежала рукопись. Впереди была вечность. Но теперь я знала: пока они в моей памяти, пока я храню их историю — я остаюсь человеком.

Глава 2. Катарина. Дыхание ночи

Сны мне снились редко. Обычно мой отдых был похож на погружение в темную, вязкую воду: ни образов, ни звуков, ни времени. Но в этот ноябрь, когда петербургские ночи стали длиннее дней, а голод становился настойчивее, вода отступила.

Я снова была там.

Мексика. 1912 год. Ночь перед походом в пещеры. Мы лежали в тесной походной палатке, и душный, влажный воздух джунглей лип к коже, смешиваясь с запахом нашего желания. Снаружи, за тонким брезентом, оглушительно трещали цикады, кричали ночные птицы, но этот шум тонул в стуке моей собственной крови.

Я чувствовала тяжесть и жар тела Виктора, ощущала каждую мышцу под тонкой тканью его одежды. Его рубашка была расстегнута до пояса, влажная от пота, и я жадно касалась пальцами его груди.

— Ты моя... — выдохнул он мне в губы, и этот шепот был громче крика. — Ты моя богиня, Эмилия.

Его руки, огрубевшие от работы с мачете, сейчас были требовательными и властными. Они скользили по моему телу, срывая остатки благоразумия. Я выгибалась навстречу каждому его прикосновению, забывая стыд, забывая строгое воспитание дочери профессора. Здесь, на краю света, я бы-

ла не леди. Я была женщиной, которая любит и хочет своего мужчину.

В тусклом свете масляной лампы я видела, как капля пота стекает по его виску. Виктор был дьявольски хорош собой — той острой, нервной красотой гения, которая притягивает женщин словно магнит. Густые, непокорные волосы цвета воронова крыла падали на высокий, упрямый лоб. У него был чеканный, аристократический профиль с хищной линией скул и твердым подбородком человека, не привыкшего слышать слово «нет». Но главным его оружием всегда оставались глаза. Пронзительные, льдисто-серые, как зимнее петербургское небо. В них всегда горел лихорадочный, ненасытный огонь амбиций и страсти. Когда он смотрел на меня этими глазами, я забывала обо всем на свете.

На его шее, в такт бешеному ритму наших сердец, подпрыгивал серебряный медальон на длинной цепочке. Холодный металл касался моей разгоряченной кожи, обжигая, когда он наклонялся ниже.

— Мы перевернем этот мир, слышишь? — шептал он, покрывая поцелуями мою шею. — Вечность будет нашей, Эмилия.

Я запустила пальцы в его густые волосы, притягивая его лицо к себе. Я целовала его так, словно хотела выпить его дыхание. Его вкус — соль, табак и мускус — был самым пьянящим наркотиком. Его страсть всегда граничила с безумием, и я сгорала в этом пламени дотла.

Виктор резко прижался ко мне, заставляя судорожно вздохнуть. Его глаза, потемневшие от вожеления, смотрели прямо в душу. В этот миг он был прекрасен.

Но вдруг тень упала на его лицо. Кожа под моими пальцами стала серой и сухой, как пергамент. Живой огонь в его глазах погас, сменившись мертвым, красным свечением. Губы, которые только что дарили мне жаркие поцелуи, растянулись в неестественно широком, хищном оскале, обнажая острые клыки.

— Вечность... — прошипело существо голосом моего любимого. — Возьми мою кровь...

Сознание вонзилось в реальность, словно лезвие. Я застыла сидя, не в силах пошевелинуться. Тишина спальни, холодная и абсолютная, обрушилась на меня, сменив оглушительный грохот джунглей. Простыни, шелковистые и безжизненные, были сжаты в моих кулаках. Мое тело все еще горело, помня его прикосновения. Но реальность обрушилась на меня ледяным душем.

Дыхание было прерывистым. Тело предательски реагировало на сон, не понимая, что любовник мертв уже сто лет. А сердце... мое мертвое сердце ныло от невыносимой тоски.

— Виктор... — прошептала я в пустоту, и мой голос сорвался.

Я встала, не зажигая света, и подошла к ростовому зеркалу. В лунном луче на меня смотрела прекрасная молодая

женщина. Совершенная. И абсолютно одинокая. Здесь, в Петербурге, держать маску становилось невыносимо трудно. В Париже или Берлине я была чужестранкой, там было проще быть холодной. Но здесь... Каждый камень помнил нас. Этот город был декорацией нашей любви. И теперь он стал моей клеткой.

И тогда, вместе с памятью, проснулся и Голод. Но не тот привычный, управляемый зуд, который можно было усмирить холодным содержимым пластиковых пакетов из холодильника. Это был древний, первобытный ропот в самой структуре крови, требовавший не просто гемоглобина, а живого, пульсирующего человеческого тепла.

Я кожей ощущала эту нехватку: мне не хватало чужого дыхания на щеке, сокрушительного ритма бьющегося сердца под ладонью, той искры, что рождается лишь в соприкосновении двух живых тел. Это была жажда близости, которую я так долго и старательно выжигала в себе, заменяя её научной отстраненностью. Моё тело, застывшее в вечном совершенстве, вдруг запротестовало против ледяного одиночества. Ему требовалась страсть, способная на мгновение разогнать вечный холод в жилах, — всё то подлинное и мимолетное, что наполняло мою жизнь до той роковой экспедиции.

Я стояла перед зеркалом, и моё отражение казалось мне прекрасным, но мертвым экспонатом за витриной. И этот новый Голод нашептывал, что я больше не хочу просто наблюдать за жизнью из тени. Я хочу коснуться её. Даже если это

сожжет меня дотла

Прошло два месяца. Золотой октябрь уступил место промозглому, серому ноябрю. В университете дни тянулись вязко. Я вросла в этот ритм, стала частью местного механизма. Люди приняли мою игру. Для них я стала «Снежной королевой», «Ледяной леди» — красивой, но абсолютно недосыгаемой. Я игнорировала шумные корпоративы, гасила ледяной вежливостью флирт коллег и дерзость студентов. Я держалась строго, не давая ни малейшего повода для сплетен. Моя тактика сработала: вскоре живое любопытство сменилось спокойным равнодушием. Общество потеряло интерес к «скучной» ученой. И это было прекрасно. Быть на виду, но оставаться невидимкой — главное искусство выживания.

Студенты последние дни были сонными из-за погоды, кроме одного.

Максим Волков начал постепенно меняться постепенно, словно сбрасывал кожу. Первые недели после той лекции он еще пытался играть по своим правилам. Он задавал провокационные вопросы, пытался поймать меня на слове, работая на публику. Ему нужны были смешки однокурсников, подтверждение его статуса лидера.

Но я не реагировала. Я отвечала холодно, точно, с той вежливой отстраненностью, которая бьет по самолюбию сильнее крика.

И тогда он затих. Сначала исчезла его вальяжность. Если

раньше он разваливался на стуле, всем видом показывая пренебрежение, то теперь он сидел собранно, ловил каждое мое слово. Он перестал опаздывать. Перестал перемигиваться с хорошенькими студентками, которые вились вокруг него на переменах. Они стали ему неинтересны.

Я замечала, как он наблюдает за мной. Это было не подглядывание, а изучение. Он следил за моими руками, когда я писала формулы на доске. За тем, как я поправляю очки. За тем, как я замираю у окна, глядя на дождь.

Больше не было наглого выражения лица. Он стал вести себя не как капризный мальчишка, пытающийся вывести преподавателя из себя, а как мужчина, который нашел загадку.

В его взгляде появилась тяжелая, взрослая страсть. Он стал ждать меня после пар. Не навязывался, не лез с глупыми разговорами. Просто провожал взглядом до учительской или до выхода. Но в этом молчании было больше напряжения, чем в любых словах. Он словно говорил: «Я хочу узнать тебя. Настоящую. Я знаю, что под этой броней кто-то есть. И я не отступлю, пока не узнаю её».

Это раздражало. И, признаться, пугало. Однажды я поймала себя на мысли что в нем, в этом самоуверенном парне XXI века, проступали черты Виктора. Та же упрямая складка между бровей. Тот же азарт, огонь в синих глазах, который сжигает всё на своем пути.

В четверг, после пар, я осталась на кафедре. За окном хле-

стал дождь со снегом — типичная питерская хтонь, размывающая границы миров. В дверь постучали. Коротко, уверенно.

— Войдите.

Максим. Он вошел и сразу повернул защелку замка. Щелчок прозвучал в тишине как выстрел. Он был мокрым от дождя, капли стекали по его серому пальто, но он, казалось, не замечал этого.

— Катарина, — произнес он, намеренно опустив отчетство, и в этом было больше дерзости, чем в любом прикосновении.

— Максим, вы забываетесь, — я отложила ручку и подняла на него тяжелый взгляд. — Откройте дверь и выйдите.

— Нет, — он подошел к столу вплотную и поставил передо мной большую коробку, перевязанную темной лентой. — Не сравнивайте меня с теми мальчишками, которые осмеливаются лишь на робкие комплименты или анонимные записки. Я другой. Я вижу, как вы смотрите на этот мир. Вам скучно. В ваших глазах такая усталость, словно вы уже видели всё, что может предложить эта жизнь.

Он наклонился ко мне, опираясь руками о столешницу. От него пахло дорогим парфюмом, дождем и желанием.

— Я хочу удивить вас. Я хочу увидеть в ваших глазах что-то, кроме вечного льда.

Он резко дернул за ленту. Стенки коробки упали.

— *Tacca chantrieri*, — выдохнул он. — «Цветок дьявола».

Такой же красивый и пугающий, как вы.

Я взглянула на цветок и непроизвольно вскочила на ноги. Черные лепестки-крылья. Длинные, хищные усы. И запах. Сладкий, гнилостный, дурманящий.

Запах нашей последней ночи. Запах смерти моей любви. Реальность в кабинете пошла трещинами. Глаза Максима, полные страсти, наложились на глаза Виктора. Петербург исчез.

Мексика. 1912 год.

Зной. Невыносимый, плавающий мозг. Мы стояли у входа в пещеру. С нами в экспедиции было ещё семеро молодых ассистентов моего мужа. Они были готовы следовать за гениальным ученым повсюду, восхищенные его смелостью, упорством и любовью к науке.

— Посмотри, Эмилия! — Виктор схватил меня за плечи, разворачивая к черному зеву. — Там, внутри. Это же они! Целая плантация!

У входа росли эти проклятые черные цветы. Их запах смешивался с его запахом — мускуса, табака и пота.

— Виктор, не надо, — я прижалась к нему. Мне было страшно, но его близость пьянила. — Индейцы ушли. Они боятся. Давай вернемся в лагерь.

Он посмотрел на меня. В его глазах полыхал пожар. Он притянул меня к себе и жадно поцеловал. Грубо, властно, словно хотел заклеить.

— Нет, моя богиня. Мы возьмем от этой жизни всё. И славу, и эти цветы, и вечность. Ты веришь мне?

— Верю, — выдохнула я, глядя на медальон на его груди. Там, внутри, был мой портрет. Он носил меня у сердца.

— Тогда идем.

Мы вошли в темноту. Он держал меня за руку, его пальцы были горячими и крепкими. Мы прошли метров пятьдесят. Своды пещеры нависли над нами, поражая своим величием. Треск факелов смешивался с нашим тяжелым дыханием и далеким, похожим на шепот, шорохом тысяча крыльев где-то в вышине. Пламя окрашивало стены и потолок в волшебные, завораживающие цвета, играло с нами тенью и светом.

И тогда свод пещеры ожил. Тишину разорвал визг — не птичий, не звериный, а адский, леденящий душу. Тьма зашевелилась, обрушиваясь на нас живой, колючей лавиной. Я не видела “тысяч глаз” — я видела море кровавых точек в крошечной тьме, слышала хруст костей и отчаянные, обрывающиеся крики. Ассистенты побросали факелы и бросились во тьму пещеры. Виктор не побежал. Он заслонил меня собой. Я видела, как первая тварь впилась ему в шею. Я видела, как его кровь — та самая горячая кровь, которая бурлила страстью минуту назад — брызнула на черный лепесток цветка, росшего на одной из колонн проклятой пещеры.

Он упал, но успел крикнуть:

— Беги!

Тварь рвала его плоть, срывая с груди серебряный меда-

льон. Цепочка лопнула. Мой портрет упал в черную грязь, и капли алой крови, его крови, ударили по моему нарисованному лицу, словно слезы.

— Нет!! — закричала я, бросаясь к нему, но тьма уже поглотила нас обоих.

— Катарина! Катарина, что с вами?!

Крик Виктора в моей голове смешался с тревожным голосом Максима. Я открыла глаза, но мир плыл и кружился. Ноги подкосились. Я бы упала, если бы не сильные руки, которые подхватили меня в последний момент.

Максим прижимал меня к себе, не давая упасть. Я чувствовала, как под ладонью, лежавшей на его груди, глухо и часто стучит сердце. Этот ритм был гипнотическим, древним заклинанием. Это была музыка жизни. И сейчас я жаждала ее, как пьяница — вина. Он был такой теплый и живой. В руках этого молодого мужчины я на мгновение вновь почувствовала себя юной девушкой. Его тепло проникало сквозь тонкую ткань моей блузки, согревая ледяную кожу.

— Я сейчас... я вызову врача, — бормотал он, и в его голосе был неподдельный страх. — Вы бледная как полотно. Простите меня. Я идиот. Я не знал, что этот запах...

— Нет, — я с трудом пошевелила губами. — Не надо врача. Просто... воздуха.

Он тут же отодвинул проклятую коробку с «Цветком дьявола» на край стола, подальше от нас, и распахнул форточку.

В кабинет ворвался холодный, влажный воздух Петербурга, смешанный с запахом снега. Он немного разбавил сладкий яд воспоминаний.

Максим усадил меня в кресло, но рук не убрал. Он опустил передо мной на корточки, заглядывая в глаза снизу вверх. Теперь в его взгляде не было наглости. Только нежность и беспокойство.

— Катарина, — прошептал он, взяв мои ледяные ладони в свои горячие руки. — Посмотрите на меня. Вы здесь. Вы со мной.

Я смотрела на него и не могла отвести взгляд. Воспоминания и этот ужасный сон сорвали с меня броню. Я была не профессором Ланж. Я была Эмилией, которая только что снова потеряла мужа. И мне так нужно было это тепло. Это живое, человеческое участие, от которого на глазах стали наворачиваться предательские слезы.

— Максим... — выдохнула я. — Зачем вы это делаете?

— Потому что я не могу иначе, — он сжал мои пальцы, поднося их к своим губам. Его дыхание обожгло кожу. — Вы думаете, я просто играю? Думаете, я избалованный мальчишка, который хочет поставить очередную галочку?

Он поднял на меня глаза, полные темной, отчаянной страсти.

— Я схожу с ума от вас. Я вижу, как вы держите всех на расстоянии, словно боитесь обжечься. Или обжечь других. Но я не боюсь. Я хочу быть с вами.

Его слова были так похожи на то, что говорил Виктор. "Мы перевернем мир", "Я не боюсь". Это было дежавю, от которого кружилась голова.

Голод внутри меня шевельнулся. Это был голод одинокой души. На секунду, всего на одну безумную секунду, мне захотелось сдаться. Забыть, кто я. Принять его чувства, позволить этому огню растопить мой вековой лед.

Максим почувствовал мою слабость. Он подался вперед. Его рука коснулась моей щеки, пальцы зарылись в волосы. Я бросила взгляд на его руку: изящные пальцы, словно у пианиста, на запястье красовались часы Patek Philippe с сапфировым стеклом, в которых отражался свет ламп.

— Позвольте мне быть рядом, — шептал он, и его лицо было так близко. — Я никому не дам вас в обиду.

Я закрыла глаза, вдыхая его запах. Жизнь. Страсть. Опасность. Он потянулся к моим губам.

Я должна была оттолкнуть его. Сейчас не время начинать романы. Должна была сломать ему руку, выбросить за дверь, накричать. Но у меня совсем не было сил. Этот день решил известить меня. Я лишь слабо уперлась ладонью ему в грудь, останавливая в миллиметре от поцелуя.

— Ты не понимаешь, о чем просишь, — тихо сказала я. Голос дрожал.

— Пусть так, — выдохнул он. — Позвольте же мне понять вас, узнать вас получше.

— Нет, — я нашла в себе силы мягко отстраниться и

встать. Голова все еще кружилась, но разум прояснился. Я посмотрела на часы, что висели на стене. — Мне нужно домой.

Максим тоже поднялся. Он не стал спорить, не стал давить. Он понял, что переступил черту, но я не прогнала его.

— Я отвезу вас, — твердо сказал он. Это было не предложение, а констатация факта. — Вы едва стоите на ногах. Я не отпущу вас одну в таком состоянии.

Я кивнула. Пусть будет так.

Мы ехали молча. Дождь барабанил по крыше его спортивной машины, дворники ритмично смахивали воду, словно отсчитывая секунды жизни.

Он вел машину уверенно, иногда бросая на меня быстрые, обеспокоенные взгляды. Я сидела, откинув голову на сиденье, и смотрела на огни ночного города. Мне было тепло. Впервые за сто лет мне было по-человечески спокойно. Я вспоминала свою семью, наши теплые вечера, наполненные уютом и покоем.

Когда мы подъехали к моему дому, он заглушил мотор, но не спешил открывать двери. В салоне повисла тишина. Напряженная, звенящая.

— Катарина, — он повернулся ко мне. — То, что я сказал там, в кабинете... Это правда. У меня есть к вам чувства. Я буду ждать столько, сколько нужно.

Я посмотрела на него. Красивый. Молодой. Полный жиз-

ни. *«Беги от меня, глупый, — хотелось крикнуть мне. — Беги и не оглядывайся. Зачем тебе женщина, не способная встретиться с тобой старость, подарить тебе детей?»*

Вместо этого я протянула руку и коснулась его кисти. Это был жест прощания, но он воспринял его как надежду. Он прижал мою ладонь к своей щеке и закрыл глаза.

— Спокойной ночи, Максим, — прошептала я. — И... спасибо. За то, что не дали мне упасть.

Шаг из машины на холодный асфальт был сделан без оглядки. Но даже спиной ощущалось, как он провожает взглядом каждое движение, пока тяжелая дверь парадной окончательно не скроет меня из виду. В этом безмолвном, обожающем взоре таилось нечто, от чего в душе стало странно: горько и сладко одновременно. Будто эхо забытой мелодии коснулось струн, которые давно должны были оборваться. Но внезапно, уже на ступенях, меня пронзило острое, беспричинное чувство тревоги.

Я замерла, держась за холодную ручку двери. Улица была пуста. Никого, кроме ветра, гоняющего мокрые листья по асфальту. В темном сквере напротив не было ни души. Но воздух вдруг показался мне тяжелым, густым, наэлектризованным, словно перед сильной грозой.

Почему мне стало так не по себе?

Может быть, это совесть? Или страх, что я позволила себе слишком много?

Я поежилась, хотя холод был мне не страшен. Интуиция,

которая спасала меня сотни лет, сейчас шептала, что что-то изменилось. Словно в механизме моей судьбы повернулась невидимая шестеренка, запуская цепь необратимых событий.

Я машинально коснулась кольца с изумрудом на левой руке. Камень, обычно теплый от моей кожи, сейчас показался мне ледяным. Он словно предостерегал меня.

— Нервы, — прошептала я сама себе, пытаюсь унять дрожь в пальцах. — Это просто нервы и усталость.

Я открыла тяжелую дверь и шагнула в темный зев парадной, оставляя за спиной ночной город, Максима и свою минутную слабость. Я еще не знала, что эта тревога была не эхом прошлого, а тихим шагом будущего, которое уже стояло у меня за порогом.

Глава 3. Катарина. Тени прошлого

Надежда — самый жестокий яд. Она действует не сразу. Сначала она согревает, дурманит, заставляет верить, что законы мироздания можно переписать. А потом она убивает.

Я совершила ошибку. Непростительную для моего возраста и опыта. Позволив Максиму увидеть мою слабость, позволив ему отвезти меня домой и коснуться моей руки, я дала ему этот яд.

Для меня это было лишь прощание. Он же решил, что это начало.

Он больше не подходил ко мне при студентах. Максим знал, что под моей маской скрывается живая, ранимая женщина. Я ждала напора, звонков, преследований. Но он меня удивил. Он перестал быть навязчивым шумом, но стал вездесущей тенью.

В университете Максим больше не пытался заговорить со мной. На лекциях он сидел тихо, внимательно слушая, но я чувствовала его взгляд на себе.

— Ты видела Волкова? — донесся однажды до меня шепот с галерки во время перерыва. У меня был идеальный слух, и я часто слышала то, что не предназначалось для моих ушей.

— Ага, — хихикнула студентка, поправляя макияж. — Он словно в секту попал. Ни клубов, ни тусовок. Я его на

прошлой неделе звала на вписку, а он меня проигнорировал.

— Может, влюбился?

— Наш Волков? — фыркнула первая. — Да он всегда любил только себя.

Максим же наблюдал. Он видел, как я спокойно и холодно отвечаю на мимолетный флирт коллег. Видел, как я игнорирую записки студентов. Он с презрением смотрел на их ошибки.

«Я не они, — читалось в его глазах. — Я умнее, терпеливее».

Началась долгая странная игра. Игра в случайности. Если я шла с бумагами в аудиторию или преподавательскую, парень оказывался рядом, открывал передо мной дверь и уходил, едва кивнув. Если я задерживалась в библиотеке, он «случайно» сидел за соседним столом, погруженный в книги.

Порой, возвращаясь домой и глядя из окна своей гостиной на улицу, мне казалось, что я вижу знакомый силуэт у фонарного столба. Или черную машину, припаркованную в тени соседнего двора. Я гнала от себя эти мысли.

«Ты просто надумываешь, Эмилия, — говорила я себе, задергивая шторы. — Тебе просто одиноко. Ты так долго отрицала в себе женщину, что теперь видишь принца в каждой тени».

Обычно, если я говорила мужчине «нет», его интерес угасал через пару недель. С середины двадцатого века мужчины

стали терять облик джентльмена, зачастую им не было необходимости долго ухаживать за женщиной, добиваться хотя бы его её взгляда. Поэтому мое «нет», обычно сопровождалось хмыканьем и потерей интереса к моей персоне. Но Максим не отступал. Он плел вокруг меня невидимую сеть, ожидая момента, чтобы затянуть узел.

И в один «прекрасный» декабрьский вечер этот момент настал.

Работа над отчетами для кафедры затянулась до глубоких сумерек. Вместо привычного такси выбор пал на пешую прогулку — странный порыв, продиктованный желанием хоть ненадолго сбежать из четырех стен. Зима уже полностью вступила в свои права: город окутала влажная морозная мгла, а воздух пропитался запахами мокрого снега и печного дыма, доносившегося из старых кварталов. Этот колючий зимний коктейль удивительным образом умиротворял, притупляя и вечный голод, и бесконечный рой тревожных мыслей.

Путь оказался неожиданно длинным. Ноги сами выбрали маршрут, приведя к набережной Карповки, а оттуда — в старый сквер, где вековые липы стояли в безмолвном декабрьском оцепенении, укрытые тяжелым инеем. Редкие фонари едва справлялись с густой темнотой, разливая тусклые круги света и удлинняя чернильные тени на припорошенных дорожках. Пришлось остановиться у чугунной ограды, за которой чернела холодная, скованная по краям льдом вода.

В этой безмолвной тишине память, подобно жестокому художнику, принялась мгновенно наносить на серое полотно реальности яркие, почти болезненные мазки прошлого.

Я вспомнила зиму 1911 года. За год до нашей роковой поездки в Мексику. Мы с Виктором гуляли именно по этой аллее по вечерам. Мороз щипал щеки, но нам не было холодно. Мы были молоды, мы были влюблены. Вокруг не было шума машин, лишь мягкий хруст снега под ногами прохожих и далекий звон трамвая. Газовые фонари заливали набережную мягким, уютным золотистым светом, в котором кружились снежинки.

Виктор шел рядом, бережно поддерживая меня под локоть, чтобы я не поскользнулась. Он был так увлечен разговором, что его глаза сияли ярче звезд.

— Представь, — говорил он, размахивая рукой в теплой перчатке. — Мы исследуем свойства экзотических растений, создадим лекарство, которое победит чахотку. Мы спасем тысячи жизней! Наши имена войдут в историю.

Он остановился и нежно поправил выбившуюся из-под моей меховой шапочки прядь волос. Его пальцы были горячими, ласковыми.

— А потом, когда мы получим Нобелевскую премию, — улыбнулся он, глядя на меня с бесконечной любовью, — мы купим домик где-нибудь в Ницце и будем растить детей. Двоих. Нет, троих!

Я смеялась, пряча лицо в пушистую муфту. Счастье казалось таким огромным, таким незыблемым. Мы верили, что впереди у нас — долгая, светлая жизнь, полная научных открытий и семейного тепла.

Я моргнула, и золотой свет 1911 года погас. Осталась лишь сырая, промозглая набережная XXI века. Вместо теплых рук Виктора — холодное кольцо на моем пальце. Вместо мечтаний о счастливом семейном будущем — моё бесконечное одиночество.

Было уже за полночь, когда я, стряхнув тень воспоминаний, свернула в узкий переулок, сокращая путь к своей парадной.

— Девушка, не найдется зажигалки?

Голос был хриплым, пропитым. Из тени арки отделились две фигуры. Один — грузный, в грязной куртке, от которого разило перегаром и дешевым табаком. Второй — жилистый, в расстегнутом коротком пуховике. Он со злобной, сальной ухмылкой рассматривал меня, поигрывая чем-то в кармане.

Я остановилась. Инстинкт хищника внутри меня лениво приоткрыл один глаз. Опасность? Для меня? Смешно.

— Нет, — сухо ответила я, собираясь пройти мимо. Про себя я молилась, чтобы они отстали, потому что я точно не была настроена на кровопролитие и ломание костей сегодня.

— А если поищем? — мужчина в пальто шагнул мне на-

перерез. В его руке тускло блеснуло лезвие ножа. — Сумочку давай. И телефон. Быстро.

Я вздохнула. Вот глупцы. Мне даже не нужно было применять Дар. Достаточно было одного быстрого движения, чтобы сломать ему запястье. Я уже напрягла мышцы, готовясь преподать этому подобию человека урок вежливости...

Но вдруг позади меня раздался твердый мужской голос: — Отошел от неё!

Я обернулся. Максим. Его глаза сверкали в темноте от злости. В его пальто, распахнутом на груди, в его сжатых кулаках было столько ярости, что грабители опешили.

— Ты еще кто такой? — рявкнул бандит, выставляя нож. — Вали отсюда, щенок, пока жив!

— Я сказал — отошел от девушки! — Максим не остановился. Он не стал вести переговоры. Он с разбегу врезался в грузного, сбивая его с ног.

Это была не красивая киношная дуэль. Это была грязная уличная драка. Максим был моложе, быстрее и злее. Грузный попытался встать, но получил тяжелый удар ботинком в солнечное сплетение и скорчился на асфальте, хватая ртом воздух.

Но второй, с ножом, был опаснее. Он бросился на Максима сбоку, целясь в бок.

— Сзади! — крикнула я, хотя знала, что он не успеет.

Максим развернулся, пытаясь заблокировать удар. Лезвие сверкнуло в свете единственного фонаря. Он успел подста-

вить руку. Звук разрываемой ткани и влажный хруст резаной плоти прозвучали пугающе громко. Нож прошел по предплечью, распарывая дорогое пальто и кожу под ним.

Максим даже не вскрикнул. Боль, казалось, только подстегнула его. Он перехватил руку бандита с ножом, выкрутил её с тошнотворным хрустом и нанес короткий, жестокий удар головой в переносицу противника. Бандит взвыл, выронил нож и, закрывая лицо руками, бросился бежать в темноту. Его поделщик, хрипя, пополз следом.

В переулке повисла тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием юноши. Он стоял, сжимая здоровую руку в кулак. Волосы растрепались, на скуле наливался багровый синяк. И запах. Запах крови ударил мне в нос. Свежей, горячей, молодой крови. Он был таким сладким, таким манящим, что у меня закружилась голова.

Я сжала зубы, подавляя Голод. Сейчас я должна стать помощью, а не монстром.

— Ты цела? — он повернулся ко мне. Его грудь ходила ходуном, глаза лихорадочно блестели от адреналина. Он даже не смотрел на свою рану.

— Максим... — я шагнула к нему. — Не нужно было...

— Не нужно было что? Защитить женщину? — он попытался улыбнуться, но поморщился от боли. По его руке, пропитывая серую шерсть пальто, расплзлось темное пятно. Капли падали на асфальт. *Кап. Кап. Кап.* Звук был гулким, как удар колокола в тишине. Каждая алая капля на сером ас-

фальте кричала о жизни, о тепле, о том, что манило.

— У тебя кровь, — мой голос прозвучал чужим, заглушенным грохотом нарастающего Голода в висках.

— Ерунда, до свадьбы заживет... — отмахнулся он, но пошатнулся.

— Не спорь со мной, Волков, — я властно взяла его под здоровую руку, и прикосновение к его горячей коже через ткань было подобно ожогу. — Мой дом в двух шагах. Идем.

Он посмотрел на меня с удивлением, но спорить не стал.

Мы поднялись в квартиру. Я включила свет в прихожей, и Максим невольно огляделся. Мое жилище было под стать хозяйке: высокие потолки, старинный паркет, винтажная мебель, черно-белые фото в рамках.

— Снимай пальто и рубашку, — скомандовала я, указывая на ванную. — Прости, у меня нет аптечки, но хотя бы рану промою.

Он послушно стянул испорченное пальто, бросив его на пол. Затем, морщась, начал расстегивать пуговицы рубашки. Его пальцы в крови скользили по гладким пуговицам.

Стянув рубашку, он небрежно кинул её на пол. Рана была длинной, но, к счастью, неглубокой. Артерии не задеты. Я включила холодную воду, взяла чистое льняное полотенце.

— Будет щипать.

Я начала смывать кровь. Максим зашипел сквозь зубы, но не отдернул руку. Он стоял очень близко. Я чувствовала жар,

исходящий от его полуобнаженного торса. Видела, как напрягаются мышцы пресса от боли. Он был похож на прекрасного темного ангела. Наверняка с такого парня как он Гийом Геффс создавал свою статую Люцифера.

— Катарина... — прошептал он.

— Молчи, — я сосредоточенно вытирала края раны, стараясь не смотреть на молодого человека. Запах крови в замкнутом пространстве ванной напомнил о том, что время моего «ужина» давно наступило. — Почти всё. Сейчас перевяжу. Но после тебе нужно пойти в больницу и зашить рану.

Я разорвала чистую простыню на полосы — бинтов у меня тоже не водилось — и начала туго бинтовать предплечье. Когда я завязывала узел, Максим вдруг накрыл мои руки своей ладонью.

— Спасибо, — тихо сказал он.

Я подняла глаза. Мы стояли в ванной, отражаясь в зеркале: он — полуголый, растрепанный, с синяком на скуле, и я — бледная, с кровавыми пятнами на руках.

— Ты мог погибнуть, — сказала я, и в моем голосе прозвучал не учительский тон, а человеческий страх.

Он сделал шаг ко мне, прижимая меня бедрами к раковине.

— Я хотел защитить тебя.

Он поднял здоровую руку, и его пальцы, грубые и обжигающе горячие, коснулись моей щеки.

— Я не играю, слышишь? — его голос, хриплый от стра-

сти, прозвучал как вызов всем законам приличий, которые я выстраивала столетиями. — Я люблю тебя.

— Максим, пожалуйста... — я попыталась отвернуться, но он мягко повернул мое лицо к себе.

Внутри поднялась волна — не страсти, а мучительной, давно забытой *тоски*. Тоски по простому человеческому теплу, по ладони на коже, по иллюзии близости, которую я похоронила вместе с Виктором. Запах его крови, свежей и металлической, смешивался с влажным духом дождя и дорогим парфюмом, создавая пьянящий, греховный коктейль. На мгновение мир поплыл.

Но я не девчонка, сбитая с ног первым же напором чувств. Я — женщина, прожившая несколько жизней и научившаяся хоронить свои сердца в разных столетиях.

Я твердо отвела взгляд от его губ, и мой голос прозвучал ровно, как отточенное лезвие, разрезающее наэлектризованный воздух:

— Вам пора. Уже поздно, и ваше отсутствие наверняка беспокоит родных.

Я сделала шаг в сторону, восстанавливая дистанцию.

Он молча взял разрезанную рубашку и скомкал её. Движения были резкими, угловатыми. Я вышла из ванной, давая ему пространство, и направилась в прихожую.

Через минуту он вышел, уже в пальто. Лицо было замкнутым и хмурым.

— Позвольте проводить вас до двери, — в моем голосе не

было и тени вопроса, лишь твердая, не терпящая возражений решимость.

Мы молча прошли через гостиную. Тишина была густой, как смола. Я открыла тяжелую входную дверь. Струя ледящего воздуха с лестничной клетки ворвалась в тёплый полумрак прихожей.

— Пожалуйста, немедленно идите к врачу. Только скажите, что порезались об стекло, — мои инструкции звучали сухо и бесстрастно. — Благодарю, что защитили меня сегодня. Это было очень благородно. Прощайте, Максим.

Он не двинулся с места. В его глазах читались смешанные чувства.

— Но... ты же... — он запнулся, не в силах подобрать слова для того, что, как ему казалось, витало в воздухе между нами.

— Я помогла вам, потому что вы были ранены. И сейчас я прошу вас обратиться к врачу. Подобная рана нуждается в профессиональной обработке и в наложении швов, — я говорила ровно, отводя взгляд от его глубоких синих глаз. — Пожалуйста.

— Я как будто снова сижу на лекции, — горько усмехнулся молодой человек.

— Хорошо, что вы помните, что я все же в первую очередь ваш преподаватель. Существуют определенные границы и правила....

— К черту правила, — выдохнул он с надрывом и шагнул

ко мне. Быстро, резко, не давая опомниться. Юноша прижал меня к косяку двери, одной рукой отсекая путь к отступлению, другой — грубо обвинил талию. Его губы накрыли мои.

Это было настолько внезапно, нагло и безрассудно, что на миг я попросту остолбенела. Не от страсти — от шока. Столетия выстроенных барьеров, железной воли и благопристойности были попораны в одно мгновение грубой силой юношеского порыва.

Его поцелуй был не взрывом — он был захватом. Властным, требовательным, лишённым всякой тонкости. Вкус его губ — солёный от крови и дождя — обжёг меня, как удар тока.

Я уперлась руками в его грудь. Он почувствовал сопротивление и оторвался, его дыхание было тяжёлым, взгляд — затуманенным победой. Он, должно быть, принял мой шок за покорность.

— Катарина... — прошептал он, и в его шёпоте звучало торжество.

— Довольно, — мой голос прозвучал негромко, но с такой ледяной чёткостью, что его улыбка замерла. Я оттолкнула его, освобождаясь из его объятий. Сила толчка была достаточной, чтобы он отступил на шаг. — Вы забываетесь, Максим. Это непростительная наглость. Всего столетие назад этим поступком вы бы обесчестили меня в глазах общества.

Я ждала, что он уйдёт. Но он замер на пороге, его взгляд

впился в меня с новой, отчаянной интенсивностью. Горечь и злость в его глазах сменились чем-то иным — последней, безумной попыткой пробить лёд.

— Я прошу вас уйти, — повторила я, и в голосе зазвучала сталь. — Вы уже перешли все мыслимые границы.

Он смотрел на меня, тяжело дыша. В его глазах не осталось ни страсти, ни надежды. Только пустота, стыд и леденящее осознание того, что он всё разрушил.

— Я... простите, — выдавил он хрипло.

— Извинения излишни. Просто уйдите.

Он кивнул, не в силах больше сказать ни слова, и вышел на лестничную площадку. Я захлопнула дверь перед ним, повернула ключ и щёлкнула задвижкой. Звуки — чёткие, металлические, окончательные — вернули мне ощущение контроля над пространством, над ситуацией, над собой.

Я прислонилась спиной к холодному дереву двери и закрыла глаза. Внутри всё дрожало. Но это была не дрожь слабости или неразделенного чувства. Это была реакция на вторжение, на нарушение священных границ, на ту бездну, в которую я едва не сорвалась. Его наглость, грубая и первобытная, в итоге спасла меня. Она стала ледяным душем, который остудил тлевшие в глубине угли забытой тоски.

Я спасла себя. И, возможно, спасла его — не от монстра во мне, а от непоправимой ошибки с его стороны, от иллюзии, которая обожгла бы его куда сильнее любой раны.

Мне удалось медленно выпрямиться и дойти до крана,

чтобы смыть с рук последние следы чужой крови. Вода была ледяной, и это было правильно. Холод отрезвлял, возвращая к пониманию самой сути моего бытия. Позади остались и потеря Виктора, и медленный, неумолимый уход всех, кто когда-то был дорог: родителей, брата, сестры, их детей. Время, безжалостный жнец, забирало их одного за другим, оставляя лишь звенящее одиночество наедине с вечностью.

Даже если бы тень монстра не затаилась в ближайшем переулке, этого мальчика всё равно рано или поздно забрала бы сама жизнь — короткая, слепяще-яркая и заведомо обреченная. Слово, данное когда-то в пустоту веков, запрещало подпускать кого-либо к своему остывшему сердцу. Не для того были выдержаны десятилетия одиночества, чтобы в финале позволить душе вдребезги разбиться о камень чужой смертности.

Старое обещание, скрепленное горьким опытом прошлого, не могло быть нарушено из-за мимолетного, безрассудного порыва в промозгом петербургском подъезде.

Максим вылетел из парадной, словно за ним гнались все демоны ада. Тяжелая дверь хлопнула за спиной, отрезая его от тепла, от нежного, цветочного запаха её духов, от того невероятного момента близости, который только что был разрушен.

Колючий декабрьский ветер ударил в грудь. Пальто было расстегнуто, но холод не ощущался — изнутри сжигало иное

пламя: гремучая смесь из унижения, ярости и невыносимой, скулящей тоски.

— Почему?! Какая же ты... — крик сорвался в хрип, когда кулак с размаху врезался в шершавую стену дома. Костяшки сбились, добавив острую пульсацию к ноющей ране на предплечье, но на эту физическую мелочь ему было плевать.

Ноги несли прочь, не разбирая дороги, вглубь лабиринтов Петроградской стороны — подальше от её дома и застывшего в ушах ледяного «нет». Путь оборвался в глухом тупике, зажато между бетонными коробками гаражей и слепым фасадом старой котельной. Тишина здесь казалась густой и вязкой, словно деготь. Лишь откуда-то сверху доносилось утробное гудение труб, да где-то вдали равнодушно шумел холодный, заваленный снегом город.

Он полез в карман пальто дрожащей рукой, нащупал смятую пачку. Вытянул сигарету, сунул в зубы, чувствуя на губах солоноватый вкус собственной крови. Щелкнул зажигалкой. Серебряная, с гравировкой «М.В.» — подарок отца на совершеннолетие. Крошечный язычок пламени вспыхнул, выхватив из темноты его лицо — бледное, искаженное мукой, с лихорадочно горящими глазами и наливающимся синяком на скуле.

— Весьма... драматичный финал, юноша, — раздался тихий, бархатный голос прямо у него за спиной. В нем не было угрозы, лишь светская, прохладная ирония.

Максим вздрогнул так, словно получил удар током. Сигарета выпала из ослабевших пальцев. Он резко развернулся.

Из густой, бархатной тени, куда не доставал чахлый свет уличных фонарей, отделилась высокая фигура. Незнакомец выглядел так, словно сошел со страниц исторического романа или старой фотографии: длинное пальто безупречного кроя, фетровая шляпа, надвинутая на глаза, и трость с серебряным набалдашником, на которую он элегантно опирался. Весь его облик дышал той же архаичной, пугающей элегантностью, что и старинные особняки Петроградской стороны, скрывающие за фасадами тёмные тайны.

— Кто вы такой? — рявкнул Максим. Внутренний голос кричал о смертельной опасности, но ноги словно налились свинцом.

Незнакомец сделал шаг на свет. Движения его были плавными, текучими, лишенными человеческой суетливости. Максим увидел бледное, удивительно красивое лицо с тонкими, аристократичными чертами, словно высеченное из холодного мрамора. Но глаза... В них плескалась такая древняя, бездонная и холодная тьма, что у парня перехватило дыхание. Это были глаза хищника, который не охотится, а просто забирает своё.

— Любопытный зритель, — мужчина чуть склонил голову набок, разглядывая Максима с вежливым любопытством коллекционера. — Пожалуй, наши интересы совпадают. Нас обоих интересует... одна и та же редкая жемчужина.

— Катарина? — имя само сорвалось с губ Максима, и он тут же пожалел об этом.

Незнакомец подошел ближе. Воздух вокруг него изменился. Он стал густым, тяжелым. Глаза незнакомца сверкнули. Это была не злоба уличного хулигана. Это было холодное бешенство монарха, увидевшего, как чернь прикасается к его короне.

— Вы назвали её по имени. С какой... трогательной фамильярностью, — произнес он мягко, но от этого тона мороз бежал по коже. — Какая непростительная, самоуверенная дерзость. Как вы, существо столь... эфемерное и смертное, посмели возомнить, что она может принадлежать вам?

Он приблизился почти вплотную. От него не пахло ничем человеческим. Веяло вековой стужей, металлом старой крови и тем самым абсолютным, неземным совершенством, которое Катарина так отчаянно пыталась скрыть за маской профессора.

— Я люблю её, — выдохнул Максим, отступая спиной к стене. Это была его последняя правда, его единственный щит против этой надвигающейся тьмы.

Незнакомец остановился в сантиметре. Его лицо теперь было хорошо видно. Безупречная, мраморная бледность. Губы, тонкие и изогнутые в полуулыбке, за которой таилась бездна, обнажили в хищном оскале безупречные, но пугающе острые клыки.

— Любовь? — он рассмеялся. Звук был похож на шелест

высохших листьев. — Вы не знаете, что такое любовь. То, что чувствуете вы... это запах плоти. Зов гормонов. Мимолетная слабость.

Мужчина поднял руку в черной перчатке и почти нежно, по-отечески, коснулся плеча Максима. Парень хотел оттолкнуть его, но тело вдруг перестало слушаться. Сознание помутилось, утопая в гипнотическом омуте этих страшных, всевластных глаз.

— Она отвергла вас не из гордости, — голос звучал прямо в голове Максима, обволакивая, убаюкивая. Незнакомец усмехнулся, обнажая в улыбке безупречные, но пугающе острые зубы. — Она отвергла вас, потому что вы — ничто. Прах под её ногами. Ответьте мне: чего вы жаждете на самом деле?

Максим смотрел в бездну перед собой. Боль от раны утихла, страх исчез, осталось только всепоглощающее желание обладать. Не потерять её.

— Я хочу быть с ней, — его голос звучал глухо, как у марионетки, которой перерезали нити воли.

— Изысканный выбор, — прошептал мужчина, и его лицо хищно исказилось, окончательно теряя человеческие черты, превращаясь в маску первобытного голода.

Тьма накрыла тупик плотным, непроницаемым саваном, заглушая звуки города. Через минуту переулок был пуст. На мокром, блестящем асфальте осталась лежать только забытая серебряная зажигалка с гравировкой «М.В.», в полированном боку которой отражалась холодная, безучастная лу-

на.

Глава 4. Катарина. Кровь на снегу

Выходные тянулись вязкой, бесцветной агонией. Я заключила себя в четырёх стенах своей квартиры-склепа, пытаюсь заглушить тревожный шёпот интуиции ритуалом. Ритуалом, унаследованным от другой жизни.

Утро субботы начиналось не с банального утоления жажды, а с торжественного, почти сакрального ритуала. В такие дни мне была жизненно необходима музейная, стерильная изысканность, способная стать якорем в зыбком океане времени.

На свет из застекленного шкафа являлся белый фарфор из коллекции «Императорского завода» — безупречный, как свежесвыпавший снег. Тончайшая чашка казалась невесомой, почти прозрачной, словно была отлита из застывшего света, а не из глины. Я медленно наполняла её, вслушиваясь в тонкий, хрустальный звон соприкосновения посуды, который в тишине квартиры звучал как камертон. Этот неспешный танец выверенных движений помогал вновь обрести связь с тем прочным, устоявшимся миром, который я когда-то знала и который теперь по крупичкам воссоздавала в своем одиноком убежище.

Я заваривала «Жасминовый жемчуг», наблюдая, как в воде танцуют серебрястые ворсинки. Мама, София де Виллер, учила меня этому ещё в нашем петербургском доме на Фур-

штадтской.

— Чаю должно быть ровно столько, чтобы он успел рассказать свою историю, но не начал жаловаться на горечь, *ma chérie*, — говорила она, и её руки, пахнувшие душистым мылом и реактивами из лаборатории отца, совершали те же неторопливые движения.

Она никогда не была просто светской дамой. Её хобби — засушенные между страниц толстых фолиантов цветы, акварельные зарисовки клеточного строения растений, тихое музицирование на клавесине вечерами — были попыткой уместить безграничный ум в тесных рамках, отведённых женщине её времени. Я, сама того не замечая, повторяла её жесты. Поправляла вазу с сухоцветами, раскладывала инструменты для письма на столе строго под углом. Это была не жизнь, а её изящная инсценировка.

После чая следовала прогулка. Интуиция — не дар, а рудимент хищника, выжившего в пещере, — всё это время тихо выла на задворках сознания. Она не формировала слов, лишь транслировала чистую, животную тревогу. «*Опасность*». Я не могла отмахнуться от этого чувства, но и понять его причину была на в силах.

Последний раз, когда я проигнорировала этот внутренний зов, был 1917 год. Петроград. Мы с семьей уже собирали вещи, чувствуя, как город сжимается в тисках голода и злобы. Но я, уверенная в своей силе, в своём «даре», отложила отъезд на день, чтобы завершить передачу лабораторных жур-

налов доверенному лицу. И мы едва не заплатили за эту самонадеянность всем. С тех пор я дала зарок: этот внутренний зверь может не знать причин, но он никогда не ошибается в факте угрозы. Но что было угрозой сейчас? Влюбленный юнец?

Я вышла на Невский проспект. Декабрь медленно передевал город в праздничные, современные одежды. Воздух пах сладковатым глинтвейном с лотков, морозцем и той особой, предпраздничной суетой, которая обычно наполняла город в ожидании светлого праздника.

Проходя мимо Елисеевского магазина, я вспоминала его убранство во времена Российской Империи. Не было гула машин, лишь цокот копыт по снежной убоине, звонок конки. Я чувствовала тёплую, уверенную руку отца в замшевой перчатке, держащую мою детскую ладонь. Справа шла мама, в огромной бархатной шляпе, что-то тихо говоря отцу по-французски, а я, маленькая Эмилия, задирала голову, пытаюсь разглядеть верхушки гигантских елей, которые сюда привозили и украшали живыми свечами и золочёными орехами.

Запах был тогда другой: хвои, воска, конского пота, дорогих духов и сладостей из кондитерской Вольфа и Беранже. Отец покупал мне фигурный пряник, а мама украдкой, под шумок, рассказывала о свойствах гвоздики и корицы в нём — не просто как пряностей, а как лекарственных средств. Это был *наш* Петербург. Тёплый, сияющий, несуетный. Мир, где наука и магия праздника уживались в одной руке.

Внезапный гудок автомобиля вернул меня в реальность. Передо мной был другой город. Уже чужой. Яркий, шумный, лишённый грации. И я была в нём призраком, застрявшим между двумя мирами, не принадлежащим ни одному из них.

Я повернула и пошла прочь с Невского, оставляя за спиной нарастающий праздничный гул. Мне внезапно до смерти захотелось тишины своего склепа и шуршания страниц старых книг.

Вечер застал меня за разбором старых рукописей и продумыванием материала для следующей лекции. На краю стола, рядом с так и нетронутым круассаном, покоились очки в изящной золотой оправе — подарок французского мастера еще позапрошлого века. Я надевала их не из нужды, ведь мое зрение не знало изъянов, а ради того особого ощущения дистанции, которое они дарили. Стекло создавало тонкий, почти прозрачный барьер между мной и настоящим временем.

Моё внимание было приковано к факсимиле алхимического трактата «Splendor Solis». Я всматривалась в детально прорисованные миниатюры, где чёрное солнце вставало над пустыми городами, знаменуя стадию нигредо — разложение и хаос, из которого должен родиться философский камень. Для моих студентов это были лишь причудливые картинки из курса истории средневековой мысли, но для меня эти метафоры дышали пугающей правдой. Я видела в них отражение собственной души: вечное гниение в ожидании преобразования, которое всё никак не наступало.

Поправляя дужку очков длинным тонким пальцем, я невольно замерла, коснувшись переносицы. В тишине кабинета я, должно быть, походила на ожившую гравюру — или на собственную мать, которая точно так же замирала над раскрытым томом, когда мысль уносила её далеко за пределы нашей петербургской гостиной. Этот жест оставался единственным, что выдавало задумчивость, делая образ совершенной, но бесконечно далекой богини чуть более осязаемым для самой себя.

В такие минуты память предательски возвращала меня в нашу с Виктором первую библиотеку. Я видела его — ещё живого, увлеченного, склонившегося над картами древних маршрутов. Тогда мы вместе вглядывались в одни и те же строки, спорили о значении символов и верили, что ищем ключ к познанию, а не дверь в собственный ад. Виктор часто поправлял мои очки, если они соскальзывали, когда я слишком низко склонялась над манускриптом.

Теперь же в кабинете пахло лишь мокрой петербургской зимой и пылью веков. Я снова была одна, и эти очки служили не для того, чтобы лучше видеть истину, а чтобы скрыть её отсутствие в моих глазах.

Понедельник впустил меня в университет бледным, безжизненным светом, отражённым от снега, который с утра решил засыпать город. Он падал неспешно, тяжёлыми хлопьями, старательно маскируя унылую петербургскую грязь под

иллюзией чистоты. Иллюзия была хрупкой.

Холл, обычно оглушающий какофонией молодых голосов, встретил меня звенящей, гнетущей тишиной. Студенты стояли скоплениями у стен, приглушённо перешёптываясь, а их взгляды, полные суеверного страха, были прикованы к центру вестибюля.

И в эпицентре этого суетливого хаоса, подобно монументам собственного горя, возвышались двое.

Мужчина — импозантный, в пальто безупречного кроя — был в ярости. Позже я выяснила, что это отец Максима - Сергей Волков. Владелец группы строительных компаний, сросшийся со своим могуществом. Его ярость была осязаема — она вибрировала в воздухе, заставляя студентов инстинктивно обходить его по широкой дуге. Но в глубине его зрачков, за стальной стеной авторитета, пробивался дикий, почти животный ужас человека, который внезапно осознал: все его миллиарды не способны выкупить сына из лап безмолвной пустоты. Его пальцы, привыкшие подписывать судьбоносные контракты, теперь судорожно и мелко подрагивали, сжимая кожаные перчатки.

Рядом с ним, вцепившись в его рукав, как в единственный уцелевший якорь после крушения, застыла его жена. Женщина, чья соболиная шуба стоила больше, чем годовой бюджет всей нашей кафедры, казалась хрупкой фарфоровой куклой, которую неосторожно уронили. Она не кричала и не требовала ответов — она просто медленно разруша-

лась на глазах. По её мраморному, тщательно выхолощеному косметологами лицу текли слёзы, густо смешанные с дорогой тушью. Чёрные, угольные потоки оставляли на щеках грязные, почти непристойные борозды, разрушая фасад безупречной светской дамы.

В этой женщине больше не было лоска, осталась лишь обнаженная материнская мука. Зрелище было настолько интимным и откровенным в своем абсолютном отчаянии, что смотреть на них было физически больно — словно я подглядывала за чужой казнью.

— Я сотру в порошок каждого! — гремел его голос, разбиваясь эхом о стены. — Мой сын не мог раствориться в воздухе! У вас тут каждый шаг под колпаком! Где записи?!

Проректор, превратившийся в жалкое подобие административного ресурса, суетился рядом, то торопливо вытирая лоб несвежим носовым платком, то нервно поправляя очки. Он напоминал выброшенную на берег рыбу: его рот беззвучно открывался и закрывался, прежде чем вытолкнуть очередную порцию невразумительного лепета о «соблюдении внутренних протоколов» и «максимальной оперативности служб».

В лучах холодного утреннего света его лысина поблескивала от испарины, а голос, обычно скрипучий и властный, сорвался на заискивающий фальцет. Он пытался загородить собой эту зияющую трещину в благополучии университета, выставяя вперед пухлые ладони в жесте беспомощно-

го оправдания. Но перед лицом первобытной ярости Волкова вся его канцелярская важность осыпалась серой шелухой, обнажая лишь мелкого человечка, чей уютный мирок только что бесцеремонно раздавили тяжелым сапогом реальности.

Я прошла вдоль стены, стремясь раствориться в тени. Мое сердце судорожно дрогнуло. Они ищут его. Значит, он не вернулся. Моя интуиция была права, опасения, что случится что-то плохое обрели плоть. Я чувствовала запах женщины — запах материнского горя, острый и горький, как миндаль. Он смешивался с дорогим, удушающим ароматом «Кокко Мадемуазель», и мне стало физически дурно. Страшно представить, что чувствовала моя мама, когда наша экспедиция была признана пропавшей без вести.

Порыв — дикий, иррациональный — толкал меня вперед: сказать, что видела его, что он ушёл от меня живым. Но инстинкт самосохранения вцепился в горло мёртвой хваткой. Любое моё слово станет крючком для полиции. Ночной визит студента к преподавателю. Кровь. Моя безупречная легенда не выдержит такого внимания.

Лекция превратилась в изошрённую пытку. Аудитория была полна, но её привычная геометрия была безвозвратно нарушена. На первом ряду, в самом центре, зияла пустота. Стул Максима стоял нетронутым — чёрная дыра в упорядоченном пространстве, точка сбоя, куда неумолимо затягивалось моё внимание.

Я стояла у кафедры, выпрямив спину в тугую струну. Ли-

цо было маской из холодного фарфора, но внутри всё горело и рушилось. Тема — «Полупаразиты: иллюзия симбиоза» — звучала зловещей насмешкой.

— Омела, — мой голос, обычно чёткий и металлический, прозвучал приглушённо, будто из соседней комнаты. — *Viscum album*. Вечнозелёный кустарник, украшающий собой зимние леса. Прекрасный, почти поэтический образ Рождества в северных странах.

Я щёлкнула пультом, и на экране появилось крупное изображение: густой зелёный шар, приютившийся в развилке голых ветвей. Усыпанный мелкими, восково-белыми ягодами.

— Но это — лишь одна её ипостась. Есть и другие виды. — Ещё один щелчок. Теперь на экране была ветвь с ягодами цвета спелой вишни, алыми, почти кровавыми на фоне той же сочной зелени. В аудитории пронёсся сдержанный вздох. Контраст был поразительным, болезненным. — *Viscum cruciatum*. Омела крестовидная.

Я замолчала на мгновение, глядя на эти красные точки. Они плыли в глазах, в голове внезапно возник образ — девственно белый снег и алые капельки крови, превращающиеся в льдинки. Тряхнула головой, чтобы отбросить посторонние мысли.

— Её называют полупаразитом, — продолжала я, заставляя себя говорить. — Она способна к фотосинтезу, но корни её внедряются под кору дерева-хозяина, высасывая воду и минералы. Она не убивает быстро. Она годами, десятилетиями

ями может жить на своём доноре, медленно истощая его, при этом цветя и плодонося. Украшая собой его гибель. Белые ягоды... красные ягоды... — мой взгляд сам собой скользнул к окну, за которым лежал снег. — Это не просто пигмент. Это химическая история, написанная на языке алкалоидов и полисахаридов. История зависимости. И безмолвного вампиризма.

Я отвернулась от экрана, чувствуя, как холод ползёт по спине. Лекция текла дальше, но слова обрели зловещий, личный оттенок. Говоря о соке омелы, липком и ядовитом, я невольно вспоминала о другом соке — тёплом, наполненном жизнью, которым был заполнен мой холодильник, который сейчас в такт биения сердец двигался по венам моих студентов. Говоря о том, как трудно отделить паразита от дерева, не убив и то, и другое, я думала о той невидимой связи, что теперь намертво сплела мою судьбу с судьбой живых людей. Мои студенты были полны собственной, независимой жизни — хозяева своей судьбы, начало и конец которой были ясны и неотвратимы. Я же, подобно объектам своих лекций, была паразитом, вечным пленником чужого жизненного цикла.

Студенты сидели, затаив дыхание. Весть о пропаже отпрыска Волкова висела в воздухе густым, угарным газом. Даже на галерке царил гнетущая тишина, прерываемая лишь скрипом ручек.

Когда, наконец, прозвенел звонок — резкий, как выстрел, — я позволила себе упасть в кресло и выдохнуть. Я стара-

лась мыслить логически. Мой пропавший студент – богатый, темпераментный юноша, которого, возможно, впервые от-вергла женщина. Его родители волнуются за него, поэтому и устроили этот переполох. Быть может их сын сейчас разде-ляет свое горе в компании прекрасных, молодых девушек и не хочет выходить на связь с кем-то из родственников. На-верняка, через пару дней он сам объявится и жизнь вернется на круги своя. А мне эта ситуация будет ещё одним уроком.

Вечером, возвращаясь в свою тихую обитель, я решила от-влечься от гнетущих мыслей, побаловав себя простыми че-ловеческими радостями. Моим недавним открытием стали круассаны из «Британских пекарен» — хрустящие, пахну-щие настоящим сливочным маслом, они неуловимо напоми-нали те, что я когда-то покупала в Париже, на бульваре Сен-Жермен. К счастью, проклятие пещеры не лишило меня спо-собности ощущать вкусы и запахи, а мой организм принимал земную пищу без вреда, хоть она и не могла утолить истин-ную Жажду.

Старый Яш-Балам, лакандонский шаман, буквально вытя-нувший меня из когтей смерти в мексиканской сельве, счита-л это важнейшей частью моей аскезы.

— Ешь то, что едят люди, Эмилия, — говорил он, поме-шивая варево в закопченном котелке. — Смакуй сладость фруктов, вдыхай аромат хлеба. В этом нет силы для твоих мышц, но в этом есть пища для твоей угасающей души. По-

ка ты делишь с людьми их трапезу, ты остаешься в их круге. Как только ты решишь, что человеческая еда — лишь прах и безвкусная труха, ты окончательно переступишь черту, за которой начинается зверь.

Он учил меня, что вампиризм — это не только биологический сбой, но и духовная энтропия.

—Паразит берет всё, не давая ничего взамен, — шептал шаман, окуривая меня дымом копала. — Стань садовником, а не сорняком. Корми свою человечность мелочами, иначе вечность превратит твое сердце в холодный булыжник.

С тех пор каждый глоток кофе и каждый кусочек выпечки были для меня не просто едой, а осознанным актом сопротивления тьме.

Воздух в парадной был ледяным и пахнем сыростью и старым деревом. Поднимаясь по лестнице, я невольно замедлила шаг, пошарила в сумке и вытащила ключи от своей двери с брелком в виде балерины. Я всегда любила балет. Может купить билет в Мариинский театр на постановку «Щелкунчик»?

Улыбнувшись своим мыслям, я поднялась на свой этаж и остановилась, как вкопанная. На тёмном коврикe у двери лежал предмет, которого там быть не должно: конверт из плотной бумаги кремового оттенка. Он был запечатан сургучом, но на нём не было ни оттиска, ни марки, ни адреса.

Сердце, этот вечный предатель, сделало в груди тихий, болезненный толчок. Я подняла конверт, кожей ощущая ка-

чество бумаги — дорогой, слегка шероховатый велен. Бросив быстрый, цепкий взгляд по пустой лестничной клетке, я скользнула внутрь. Дверь закрылась за мной, щёлкнули все три задвижки — звуки, отмечающие границу между внешним миром и моей крепостью.

Под холодным, безжалостным светом хрустальной люстры в прихожей я вскрыла конверт. Внутри лежали две вещи: засушенный цветок и сложенный лист. Цветок был мгновенно узнаваем — алый, приземистый, с мясистыми лепестками. *Diphelyraea coccinea*. Дифелипея пурпурная. Крайне редкий цветок-паразит, лишённый хлорофилла, чья яркость — обманчива и смертельна для растения-хозяина.

На бумаге того же изысканного оттенка слоновой кости, чёрными, чуть выцветшими от времени чернилами, был выведен безупречный курсив:

«Madame,

Примите сей скромный дар как напоминание о бренной природе прекрасного. Живое существо столь же хрупко в своём совершенстве, как этот иссушённый венчик.

Мы все — пленники этих двух сил: мимолётной красоты окружающего мира и своей вечности. Цепляясь за первое, мы слепы ко второму. Иные же наблюдают за обеими со стороны, познавая горькую поэзию их противоборства.

Надеюсь, Вы оцените изящество аллегории.

С неизменным почтением к Вашему пронциательному уму,

Анонимный поклонник»

Разум, привыкший к анализу, мгновенно выстроил версии. Первая, простая и человеческая: жестокий театр обиженного юнца. Максим Волков, чьё самолюбие я ранила. Цветок — намёк на его увядшие чувства, текст — попытка испугать или вернуть внимание. Жест избалованного ребёнка, не знающего отказа.

Но следом, из глубин инстинкта, поднялась вторая, леденящая душу догадка. Это — не он. Стиль слишком... выверенный. Слишком осведомлённый. Это послание — лично ко мне. Но такого не могло быть. Здесь, в этом времени, в этом городе, не должно было остаться никого, кто знал бы мою подлинную природу. А отправитель знает. Знает как минимум о моей страсти к ботанике, о моём языке. Это не просто предупреждение. Это — начало диалога. Извращённой, опасной игры, правила которой мне ещё только предстояло понять.

Я осторожно, кончиками пальцев, вернула цветок и записку в конверт. Руки, к моему глубочайшему раздражению, предательски дрогнули. Мысль выбросить эту гадость в пламя была сильна и проста. Но... а вдруг это улика? Связь с исчезновением Максима? Сообщить полиции? Сказать: *«Мне подброшено анонимное послание с цветком-паразитом»*? Немыслимо. Это мгновенно превратило бы меня из свидетеля в главного подозреваемого. Моё алиби, мой мо-

тив, наш ночной разговор — всё всплыло бы и похоронило хрупкую легенду, которую я строила десятилетиями.

Я оказалась в ловушке, стены которой были сложены из моего же знания и страха. Тишина квартиры, всегда бывшая мне утешением, теперь гудела низким, тревожным гулом — словно отголоском тиканья тех самых разбитых часов, отсчитывающих секунды до того момента, когда намёк станет действием, а игра — прямой угрозой. Угрозой не просто моему покою, а самому хрупкому балансу моего существования.

Поздним вечером накануне Нового года университет вымирал, сбрасывая с себя суету семестра, подобно дереву, сбрасывающему пожелтевшие листья. В коридорах царил непривычная, почти праздничная опустошенность, пахнущая мандаринами из учительской и краской от упаковочной бумаги. Последний зачет был сдан, последние подписи поставлены.

Я выходила из здания вместе с Марией Сергеевной, молодой преподавательницей с кафедры латыни. В последние дни, после допроса полиции, между нами возникло странное, молчаливое товарищество по несчастью. Не дружба, но осторожная взаимная поддержка тех, кого коснулось общее горе. Полиция больше не беспокоила — моя версия о цветке и внезапном недомогании, подкреплённая записями камер (Максим выходил из моего кабинета с пустыми руками, я —

бледная, но живая), была принята как данность. Я стала одним из многих свидетелей, фоновой фигурой в деле о пропавшем богатом наследнике.

— Представляешь, я купила билеты на каток в Таврическом! — щебетала Мария, закутываясь в шерстяной шарф. Её глаза сияли предвкушением праздника, простого и такого далекого от моей реальности. — И на ярмарку на Конюшенной обязательно сгоняем с мужем. Глинтвейн, имбирные пряники... Ну надо же как-то зарядиться энергией на следующий семестр!

Я кивала, поддакивала, стараясь, чтобы мои ответы были естественными. Мы шли по узкой, уже подметённой дорожке, ведущей от бокового входа к воротам. Фонари, украшенные мишурой, бросали на снег цветные блики — красные, синие, зелёные. Воздух был колючим, морозным, пахнущим хвоей и сладкой ватой с соседней ярмарки

И вдруг в нос ударил знакомый, леденящий душу букет. Сладковатый привкус медной монеты, тонкие, гнилостные нотки разложения, и поверх всего — острый, живой запах страха, застывший в воздухе, как пар на морозе. Смерть.

Мои шаги на миг замедлились, пальцы внутри перчаток произвольно сжались. Но лицо осталось спокойным, маска не дрогнула. Я продолжала слушать Марию, бормоча что-то вроде «Звучит замечательно», в то время как все мои звериные инстинкты вопили тревогу.

Мы повернули за угол здания и Мария замолчала на полу-

слове. Её щебет оборвался, сменившись коротким, задушенным всхлипом. Потом раздался пронзительный крик, разорвавший праздничную тишину двора.

— О, Боже... О, Боже, нет! Что это?!

Она рванулась вперёд, к темной фигуре, лежавшей у подножия памятника учёному мужу. Я успела схватить её за рукав, резко и властно.

— Мария, стой! Не подходи. Немедленно вызывай полицию и скорую. Сейчас же, — мой голос прозвучал как удар хлыста, холодно и отчётливо. Она замерла, дрожа всем телом, беспомощно кивнула и, рыдая, начала набирать номер.

Сама я сделала шаг ближе.

Девушка, совсем юная, лежала на спине в неестественно грациозной позе, словно её уложили, а не бросили. Белокурые волосы рассыпались по снегу светлым нимбом. Лицо - восково-белое, почти прозрачное, с синеватыми прожилками у висков. Глаза смотрели в чёрное небо, широко открытые, в них застыло глубочайшее недоумение.

Но не это было самым страшным. В её полураскрытой, окоченевшей ладони лежала веточка. **Омела**. *Viscum cruciatum*. С тремя ягодами цвета запекшейся крови, яркими и сочными на фоне бледной кожи и белого снега.

На шее - два аккуратных, идеально ровных прокола — крошечные алые точки, похожие на следы от тончайших игл. От них по хрупкой ключице стекали две тонкие, застывшие дорожки. Капли упали на снег, превратившись в маленькие,

багровые льдинки, словно рассыпавшиеся рубины.

Никакой лужи крови. Никакого беспорядка. Только жуткая, выверенная до мелочей картина. Натюрморт со смертью. Послание, обращенное к тому, кто сможет его прочесть. Кто понимает язык ботаники и эстетики, аристократии и вампиризма.

Вдали уже завывали сирены. Мария тихо всхлипывала. Я стояла неподвижно, глядя на алые ягоды в мертвой руке. Предновогодняя иллюзия радости треснула. В городе появился такой же паразит, как и я. И, судя по этому посланию, он хорошо знал меня.

Охотник не просто объявил о себе. Он оставил свою визитную карточку, адресованную лично мне. И подписался знакомым почерком — кровью, снегом и ягодой омелы.

Глава 5. Холодный след

Часть I. Н

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.